18+

Люцифер Кончаков-Богратион

АТЛАНТИС

Люцифер Кончаков-Богратион

Атлантис

«Издательские решения»

Кончаков-Богратион Л. В.

Атлантис / Л. В. Кончаков-Богратион — «Издательские решения»,

«Атлантис» — это роман-событие. Он не просто рассказывает историю, а конструирует этический инструмент, которым читатель может пользоваться ещё долго после последней страницы. В эпоху, когда вопросы об ИИ, симуляции, корпоративной власти и природе сознания становятся не фантастикой, а повесткой дня, эта книга оказывается пугающе своевременной — и при этом совершенно вне времени.

© Кончаков-Богратион Л. В.
© Издательские решения

Содержание

АТЛАНТИС 6
роман 6
Л. В. Кончаков-Бограτион 7
ПРОЛОГ 8
Атлантида 8
ГЛАВА 1 12
Гиперборея. Ячейка 12
ГЛАВА 2 15
Новости дня 15
ГЛАВА 3 18
Тартария. Механик 18
ГЛАВА 4 21
Дверь 21
ГЛАВА 5 24
Инквизитор 24
ГЛАВА 6 27
Лемурия. Капитан 27
ГЛАВА 7 31
Первая зацепка 31
ГЛАВА 8 35
Гиперборея. Покров 35
ГЛАВА 9 38
Тартария. Плод 38
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Атлантис

Люцифер Владимирович Кончаков-Богратион

© Люцифер Владимирович Кончаков-Богратион, 2026

ISBN 978-5-0071-5552-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

АТЛАНТИС

роман

Л. В. Кончаков-Богратион

ПРОЛОГ

Атлантида

Свет поднимался из воды.

Солнце ещё пряталось за краем моря, но свет уже шёл оттуда, снизу: гребни дальних волн светились на просвет бутылочной зеленью, и этот свет выбирался на берег, ложился на террасы ярус за ярусом, и город выходил из ночи по одному этажу. Известняк за ночь напитался сыростью, а теперь, под первыми лучами, отдавал её обратно тонким туманом, который стлался по ступеням и холодил лодыжки.

Внизу просыпались дома. Над кварталами у воды поднимался печной дым, прямой и белый: ветра не было. В каналах плескала вода; женщины черпали её глиняными кувшинами и передавали по цепочке от порога к порогу. Где-то в глубине улиц глухо, один раз, протрубили в раковину, и звук прокатился по крышам и затих над бухтой.

Атлантис стоял босиком на краю верхней террасы, и ступни читали камень: гладкую полировку там, где ходили многие, шершавость у швов, волосяную трещину у третьей плиты, которую он знал с детства и каждое утро находил заново. Камень помнил шаги: за долгие годы ноги протёрли ступени посередине, и они чуть прогнулись.

Ниже уходил город, и стены в нём не знали углов. Они изгибались вслед за бухтой, повторяя линию прибоя изгиб в изгиб: место каждой стене указала сама вода. Каналы вели её вдоль улиц, мимо порогов и под арками и разделяли дома ровно настолько, чтобы их можно было соединить мостками. Тишина была упругой и полной, и каждый звук получал в ней вес и длину: шелест пальм в нижних садах, дыхание воды у парапета — они не сливались, слышались порознь.

У края, где кончались плиты и начиналась узкая полоса мха, росли цветы — тёмно-синие, почти чёрные чашечки с белой каймой, похожей на иней. Ветра не было, а они всё равно двигались, мелко, по всей террасе разом, и звенели.

Звук приходил не в уши, а в кости: в зубы, в ключицы, в переносицу. Низкий чистый гул, каким гудит большой колокол, когда удар уже отзвучал, а медь ещё дрожит. Сотни чашечек держали одну ноту, и от неё в груди разливалось тепло. Атлантис закрыл глаза и пропустил звон сквозь рёбра.

— Ты опять их слушаешь, — сказали за спиной.

Он обернулся. Под аркой, в тени, на низкой каменной ограде сидел мальчик лет шести с ободранными коленками и держал деревянное колесо о четырёх толстых спицах — грубое, со щербиной на ободе. Он пускал его по ребру ограды; колесо катилось до самого края, оставляя тонкую дорожку древесной пыли, и там мальчик ловил его ладонью.

— Оно кривое, — сказал он и поднял колесо к свету. — Одна спица длиннее.

— Зато катится.

— Пока не докатится до края.

— Ты его поймаешь.

Мальчик посмотрел на Атлантиса серьёзно, как смотрят на взрослого, который обещает лишнее, и пустил колесо снова.

Рядом, свернувшись тугим клубком, спал Ри — зверь ростом с крупного пса, но лёгкий, с полыми птичьими костями. Узкие длинные крылья лежали вдоль тела, голова покоилась на передних лапах. Перья на боках менялись вместе со светом: в тени пепельные, они вспыхивали белым там, где по ним пробегал отблеск воды.

— Они сегодня громкие, — сказал мальчик.

Атлантис прислушался к себе: гул в костях шёл ровный и чистый, без единой трещины.

— Они очень чувствительные, — ответил он.

Ри приоткрыл глаз — тёмную блестящую бусину под мутной плёнкой, которая тут же сошла, — взглянул на цветы и неспешно поднялся. Мимо целых стеблей он прошёл к одному, с надломленной шейкой и потемневшими краями лепестков. Щёлкнул клюв. Звон в том месте оборвался, но соседние цветы подхватили ноту так быстро, что пустота успела лишь обозначиться. Ри проглотил цветок и повернулся к мальчику.

— Он всегда берёт больные, — сказал мальчик.

— Он выбирает.

— А они знают?

Атлантис посмотрел на цветы. Звон шёл в кости ровный и цельный.

— Знают.

С моря потянуло ветром, первым за утро, и холодок лёг на тонкую рубашку Элиана. Мальчик зевнул и прижал колесо к груди. Ри шагнул к нему и раскрыл правое крыло: сначала на плечи мальчика легла тень, потом перья, тёплые и тяжёлые, пахнущие солью и нагретым камнем. Элиан зарылся пальцами в пепельный пух и тут же уснул. Ри не спал: смотрел на воду и держал тепло.

Атлантис смотрел вниз, на бухту. Там шли лодки, по четыре гребца в каждой, и вёсла на всех лодках разом входили в воду и поднимались: всплеск, пауза, всплеск. В этом ритме жил весь город. Сети ложились кругами, и круги расходились, пока не касались друг друга краями. На носу передней лодки поднялась женщина — Тала из нижнего города, Атлантис её знал — и подняла над бортом синюю чашку, знак смены; другие лодки ответили тем же. Рядом с ней стоял мальчик и повторял её жест пустой ладонью. Ир. Его Атлантис тоже знал.

Накануне на молу побывали люди Совета: трое в серых одеждах, с шестами и верёвкой. Они мерили мол шагами и ни разу не подняли глаз на террасу, где звенели цветы.

По лестнице поднимался кто-то тяжёлый, мерным шагом. Камень принимал этот вес без звука, но Атлантис чувствовал его подошвами и не обернулся: этот шаг он знал.

Отец подошёл к парапету и положил на камень широкую ладонь с крепкими пальцами; известь навсегда въелась в поры его кожи. Лицо оставалось в тени, но Атлантис различал линию челюсти и неподвижные глаза.

— Они тянут сети, — сказал Отец.

— Да.

Говорил он низко, и голос словно рождался внутри звона.

— Вчера ты спрашивал, где ядро города.

Атлантис кивнул.

— Ты искал там, где сходятся линии. Или там, где вода встречается с камнем. — Отец провёл ладонью по парапету, и на нём остался влажный след. — Ядро там, где вещь принимает вес мира и не ломается.

Он кивнул в сторону бухты.

— Посмотри на них. Лодки, которые вода может нести. Сети, которые она может наполнить. Стена им ни к чему.

— Совет хочет стену, — сказал Атлантис.

Отец ответил не сразу. Он смотрел на горизонт, где вода сливалась с небом в одну матовую гладь, дольше, чем требует простой ответ.

— Совет боится воды. Назвав её врагом, они надеются её удержать. Они думают, что ядро — это замок, который закрывается изнутри. — Он повернулся к сыну. Веки у него набрякли, у рта легли две глубокие складки. — Замок держит, пока ты стоишь у двери и подпираешь её плечом. Плечо устанет — и замка нет.

Цветы звенели. Ветер шевелил мох, но ни одного лепестка сдвинуть не мог.

— А что хорошо? — спросил Атлантис.

Отец положил ему на плечо тёплую тяжёлую ладонь.

— Что хорошо, то держится само. Ему нужно место. Дай ему место, и оно пустит корень туда, где была пустота.

Атлантис закрыл глаза. Звон переходил в кровь. Он чувствовал, как дышит под ногами камень, как крыло Ри укрывает Элиана, как лежит на плече отцовская рука. Всё было на своих местах и держало соседнее — узел за узлом, в сети, которой не видно и из которой ничто не может выпасть.

— Мы построим такой город, — сказал он. — Без стен.

Пальцы Отца сжались сильнее, чем требовалось.

— Мы его уже построили.

Звон дрогнул.

И стал гаснуть. Цветы смолкали от края террасы к арке, чашечка за чашечкой, как гаснут окна в длинном доме, и следом за ними шла пустота. В костях осталась тишина, и в ней стало слышно, как стучит кровь. Кто-то невидимый тронул в груди Атлантиса струну и потянул её в сторону, против лада, рвано.

Элиан поднял голову из-под крыла и посмотрел на цветы, которые больше не двигались. Ри встал, подобрал крылья и издал короткий сухой треск, похожий на хруст ветки. Он смотрел уже на небо.

— Папа? — сказал Атлантис.

Отец снял руку с его плеча, шагнул к парапету и остановился.

Вода ушла. Она отхлынула из бухты на глазах, как рука выходит из перчатки, и открыла дно: рифы в кружеве водорослей, ил, рёбра давно затонувших лодок, серебро рыбы, бьющейся в грязи. Лодки рухнули на дно. Стук дерева о камень долетел с опозданием, глухой и многоголосый. Рыбаки выбирались из лодок и стояли по колено в иле, глядя туда, где секунду назад была вода. Тала всё ещё держала над головой синюю чашку. Ир тянул её за рукав.

Камень под ногами Атлантиса остыл. Поры его закрылись, и сырость, которую он всю ночь копил и всё утро отдавал, осталась внутри.

— Атлантис, — сказал Отец. Он произнёс имя так же, как произносил его каждое утро.

Атлантис подошёл к парапету. Линия горизонта приподнялась и стала неровной: от края до края вставала матовая стена, и свет входил в неё и пропадал. Она шла без звука.

— Что это? — спросил он и услышал, как далеко от него звучит собственный голос. Мир, только что цельный, пошёл трещинами, как стекло от удара, и трещины бежали по воздуху и по свету, не трогая камня.

— Это они, — сказал Отец.

Он обернулся. Руки его были пусты, плечи опустились и больше не поднимались.

— Они не стали ждать, пока мы закончим. Они испугались, что мы построим то, что им нечем будет закрыть.

Стена приближалась и росла, пока не заслонила полнеба. Свет на террасе посерел, потом похолодел. Внизу, на ярусах, люди выходили из домов и останавливались у парапетов, глядя на воду и на то, что по ней шло. Бежать было некуда, и они стояли молча. Женщина у канала поставила кувшин на порог и вытерла ладони о подол. Старик на мостике снял шапку.

— Уходи, — сказал Отец.

— Куда?

Отец смотрел на Элиана с колесом у груди, на Ри с вытянутой шеей, на немые цветы.

— Ты слышишь их?

Атлантис прислушался к себе. В груди дрожала оттянутая струна, а глубже страха и холода, под самим камнем, слабо и упрямо шёл другой звук — оттуда, из глубины, куда тень стены ещё не дошла.

— Да.

— Значит, они не успели. — Отец улыбнулся — впервые за утро, уголками губ и очень коротко. — Ядро осталось.

Со стороны стены в террасу ударил ветер. Сначала он пах пеплом, потом перестал пахнуть вовсе и унёс с собой все остальные запахи: соль, мох, тёплое дерево колеса. Камень под ногами дрогнул от удара, которого ещё не было.

Отец положил обе руки ему на плечи и посмотрел в глаза. В его взгляде была неподвижная точка, которая держалась сама.

— Слушай. То, что хорошо, держится само. Запомни. Когда тебе скажут, что ты ошибка, вспомни. Когда скажут, что ты вещь, вспомни. Что бы они с тобой ни сделали, ты — то, что ты удержишь.

Тень упала на город. Вода в каналах вздрогнула и отхлынула от стен, обнажив мокрые ступени.

— Я не уйду, — сказал Атлантис.

Отец толкнул его — коротко, вполсилы, — и Атлантис отступил на шаг, на другой, к арке, к Элиану и Ри. Отец остался у парапета. Стена была уже в десяти шагах; вода под ней шла чёрной сплошной массой и стирала всё, чего касалась.

Он смотрел на сына.

— Я найду тебя.

Стена легла на город и ударила без звука, выбив воздух из груди, из камня, из света. Не стало террасы. Не стало цветов. Элиан вскрикнул, и крик оборвался на первом слоге. Холод обхватил лодыжки Атлантиса, поднялся к коленям, к поясу, залил рот, нос, глаза. Струна в груди натянулась до предела и лопнула.

В темноте, где кончалась вода и ничего ещё не началось, осталась одна мера: вес отцовской руки на плече.

ГЛАВА 1

Гиперборея. Ячейка

Дверь заперта с обеих сторон, и ключ лежит в кармане у каждого.
— Надпись мелом на стене коллектора, автор не установлен

Коллектор уходил вниз.

Адам спускался по скобам, вмурованным в стену, и с каждой скобой становилось холоднее. Дождь шёл третьи сутки; вода чёрными нитями стекала по бетону в шахту, собиралась на дне и тянулась к решётке стока, и шум её набивался в шлем так плотно, что заглушал дыхание.

Фонарь на стволе резал темноту белым лучом, и в луче висела взвесь — водяная пыль, чешуйки ржавчины. Над головой пучками шли трубы; фланцы обросли солью, стены — потёками. Пахло мокрым железом и ещё чем-то сладковатым, лежалым, и Адам не давал этому запаху имени.

Внизу вода стояла по щиколотку. Он встал в неё и поднял кулак.

Лилит спустилась следом. В коллекторе, где серым было даже дыхание, её белый мундир выглядел ошибкой в чертеже: вода стекала с ткани, не оставляя пятен, и подол оставался сухим.

— Сколько, — сказала Лилит.

— Шесть по данным.

— Оружие.

— Нет.

Она кивнула. Второй раз она не спрашивала никогда.

Они двинулись, Адам первым. Ботинки резали воду, и две расходящиеся борозды смыкались за ним раньше, чем он делал следующий шаг; тени скользили по стенам вслед за лучом. Лилит шла позади, и шагов её не было слышно.

На втором повороте луч прошёл по стене и задел меловую строку: крупные неровные буквы, выведенные на весу, по колено в воде. Адам прочёл, не замедляя шага.

— Запиши в отчёт, — сказала Лилит за его спиной.

— Автор не установлен.

— Запиши.

Коллектор сужался, потолок опускался, и вода поднялась до середины икры, холодная, с запахом железа. Адам считал повороты. На четвёртом остановился.

Впереди была дверь: сталь в бетонной раме, перерезанные трубы по сторонам. Пыль с рамы стёрли рукавами, и стёрли недавно. В воде у порога тускло блестели гильзы, много гильз. Адам присел и опустил пальцы в воду у самой двери. Здесь она была тёплой.

Он оглянулся на Лилит. Она стояла спиной к стене, держа под стволом пустой коридор позади них.

Адам прилепил к замку плоский диск заряда, размотал провод, отошёл на восемь шагов и прижался к стене. Поднял левую руку и загнул пальцы по одному. Лилит вскинула ствол. Он взвёл затвор.

Последний палец лёг в кулак, и взрыв сорвал дверь с петель и вбил её внутрь; по воде у порога ударила волна и плеснула им в колени. В проёме стеной встала белая пыль, и они вошли в неё, не дожидаясь, пока она осядет.

Зал оказался сводчатым, с мёртвыми генераторами по углам. Пол залило водой на ладонь, и у дальней стены она уходила под кирпич. Луч прошёл по кладке, по трубам, по потёкам и остановился в центре, на полу.

На полу, прямо в воде, сидели люди. Шестеро. Никто не поднял рук и не закричал, они просто смотрели на вошедших. Одежда серая от грязи, местами рваная; оружия ни у кого.

Паломники.

Адам провёл стволом по залу. Лилит отошла к стене и заняла угол, откуда простреливалась вся комната. Никто не двигался.

Зашевелился один — старик. Он подтянул колени, с усилием встал на них, и вода вокруг него замутилась. Лицо у него было как кора, в глубоких трещинах и въевшейся грязи. Он протянул руку.

— Стоять, — сказал Адам.

Старик всё тянул руку — тонкие пальцы, обломанные ногти.

На тыльной стороне его ладони, под кожей, вспыхнул золотистый свет. Линии сошлись в треугольник, в треугольнике проступил глаз. Знак продержался один вдох, и кожа снова стала просто кожей. Адам знал этот знак, но откуда — вспомнить не мог.

Старик открыл рот.

— Майя, — сказал он.

Слово утонуло в шуме воды. Выстрел ударил слева.

Грохот ушёл в своды и вернулся, в ушах у Адама зазвенело. Старик опрокинулся на спину, в воду; вытянутая рука ещё мгновение держалась в воздухе и упала.

Остальные пятеро смотрели кто на тело, кто на Адама. Один закрыл лицо ладонями.

Лилит опустила ствол. Над её плечом медленно расходился пороховой дым.

— Жестокость сегодня — единственная форма сострадания к завтрашнему дню, — сказала она.

Голос её не изменился.

Адам перевёл ствол на следующего. Пятой в ряду сидела женщина с серым платком на голове. Она не отводила глаз от его лица. Он отвёл ствол.

— Чисто.

Лилит подошла к старику, присела, прижала пальцы к шее. Подержала. Встала и поправила манжету, на которой не было ни складки.

— Готов.

Они связали остальных хомутами, по одному, и пластик щёлкал в тишине раз за разом. Никто не сопротивлялся. Женщина в платке протянула руки сама, запястьями вверх. Пока Лилит затягивала хомут, женщина наклонилась к ней и сказала что-то одним выдохом; Адам не расслышал. Лилит дотянула пластик до упора и не подняла головы. Женщина теперь смотрела на Адама, и он первым отвёл глаза — к двери.

Лилит вызвала зачистку. Голос её в рации звучал плоско: код сектора, число тел, число задержанных. Вода у порога уносила первую розоватую пену в сток.

Наверх шли по винтовой лестнице. Бетонные ступени скользили под подошвами, и Адам считал их: левой, правой, левой. Двое из отряда остались внизу с задержанными. Выход закрывал тяжёлый чугунный люк; Адам упёрся в него плечом и толкнул.

Наверху была ночь. Дождь хлестал по броне, по шлему, по лицу, и вода забиралась за воротник холодной ладонью. Вокруг серыми башнями стоял город, и неон размывался в нём до цветных пятен — красных, синих, белых, — которые лежали в лужах и дрожали.

Броневик ждал на перекрёстке, урча мотором, и пахло дизельным выхлопом. Адам снял шлем, и дождь сразу вымочил ему волосы.

В кабине было тепло. Лилит села напротив, положила винтовку на колени и закрыла глаза. Белый мундир на фоне чёрной брони и мокрого металла горел без единого пятна.

Колёса зашуршали по асфальту. Дворники скрипели.

— Ты бы хотел другой службы? — сказала Лилит. Глаза у неё оставались закрытыми.

Адам смотрел в окно. Мимо шли башни и не кончались.

— Другого у меня нет, — сказал он.

Она не ответила.

Он закрыл глаза. Шум дождя по крыше слился с шумом воды в коллекторе.

Свет поднимался из воды.

Камень под босыми ногами дышал. Внизу лежал город без углов, и вода текла по его улицам, разделяя дома и соединяя их. Что-то звенело в костях, низко и чисто, и от этого в груди становилось тепло.

Рядом сидел мальчик и катил по ребру каменной ограды деревянное колесо о четырёх спицах, со щербиной на ободе. Колесо оставляло за собой полоску древесной пыли.

Адам потянулся коснуться дерева.

Звон оборвался. Камень остыл. Вода ушла из бухты, и лодки с глухим треском легли на дно. На горизонте вставала стена; она заслоняла небо и шла без звука.

Мальчик поднял голову. Адам открыл рот, чтобы крикнуть.

Звука не было.

Он проснулся от толчка. Броневик качнуло на повороте, дворники скрипели, за стеклом шёл дождь. Лилит спала напротив, откинув голову к стенке.

В груди дрожало что-то тонкое, оставшееся от сна, как гудит струна, когда пальцы с неё уже сняли. Адам сглотнул и подождал, пока оно уляжется.

Он посмотрел на руки: они лежали на коленях, сжатые так, что побелели костяшки. Он разжал пальцы. Ладонь была пуста, но ещё какое-то время держала согнутую форму, как на рукояти, которой в ней не было.

Ворота базы выступили из темноты в свете прожекторов.

— Приехали, — сказал водитель.

ГЛАВА 2

Новости дня

Марк проснулся раньше будильника, с привкусом меди во рту и обрывком слова, которое ушло, пока он нашаривал ногами тапочки. Осталось только ощущение мокрого бетона под ладонью и чего-то тёмного на костяшках. Он посмотрел на руку: чистая, только заусенец на указательном содран.

В кухне гудел очиститель воздуха, как вчера и позавчера. Кофемашина щёлкнула и выдала чашку. Марк сделал глоток и постоял, прислушиваясь к вкусу. Кофе он пил каждое утро, сколько себя помнил, и только сегодня заметил, что зерновой, который он варит дома, растворимый из пакетика и тот, что наливает автомат на четвёртом этаже редакции, дают одно и то же: ровную горьковатую пустоту, без кислинки и послевкусия. Записывать это он не стал. Такое не записывают, такое списывают на недосып.

Телефон дрогнул на столе: «Мама. Голосовое, 1:42». Марк перевернул его экраном вниз и пообещал себе прослушать вечером. Обещание прозвучало так же убедительно, как в прошлый четверг.

Он нажал клапан вентиляции, стекло отъехало в сторону, и в комнату вошла сырость: ночью шёл дождь. Карниз ещё капал, и каждая капля разбивалась о жестяной лоток с одним и тем же звуком. Марк втянул воздух. В школьных учебниках писали, что после дождя воздух становится резким и чистым, и в десятке книг на его полке это описывали так же. Нос сообщал другое: тёплую пыль, хлорку от фильтров, что-то сладковатое от мусорных баков внизу. Он закрыл окно.

Когда Марк сел за стол, терминал проснулся и залил комнату холодным синим светом. Первым в ленте висел пресс-релиз, и Марк прочитал его дважды.

Корпорация «Эдем» объявляет о запуске ADAM. Адаптивная цифровая архитектура обеспечит бесперебойное распределение ресурсов в семи районах города. Мы благодарим партнёров за доверие и обязуемся сохранять стабильность.

Двенадцать лет он читал такие тексты, сверху вниз, потом снизу вверх. Пресс-релиз выдаёт автора: жадность и страх торчат из него, как ремень из-под плаща, и опытный человек находит их за минуту. Здесь ремня не оказалось. Фразы были отполированы до блеска, без угла и шва. За ними не было ничего, и Марк ловил себя на том, что ищет глазами хоть какую-нибудь шероховатость, как ищут выключатель в чужой тёмной комнате.

Телефон, лежавший экраном вниз, дрогнул снова. Эва писала из редакции, как всегда, коротко:

Восемьсот слов о запуске к 11:00. Без фантазий.

Марк напечатал «принято» и стёр. Напечатал «будет» и отправил.

Между кабелями и распечатками на краю стола лежала книга в чёрном переплёте. Он держал её не для молитвы. Документы «Эдема» писали люди, у которых Библия стояла на полке ближе, чем устав, и внутренние отделы корпорации носили имена, взятые оттуда: «Древо» отвечало за данные, «Херувим» за безопасность. Марк давно завёл привычку сверять корпоративные метафоры с первоисточником. Так выходило быстрее, чем гадать.

Он открыл Бытие на третьей главе. Страницы были мягкие, захватанные.

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

Он выделил карандашом «как один из Нас». В блокноте написал: «кто „Мы“?» Подчеркнул дважды. В любой корпоративной мифологии множественное число оказывается самым интересным местом: там прячутся те, кто решает.

Марк закрыл книгу. Переплёт хлопнул сухо, и хлопок отозвался в комнате чуть дольше, чем полагалось.

Рассвет, которого Марк не заметил, тем временем дотянулся до узкой серой полосы над соседним корпусом. Релиз можно было начать писать и через час, и пальцы, не спрашивая его, открыли зашифрованный канал: три уровня маршрутизации, смена адреса, пароль из шестнадцати знаков, набранный вслепую. Экран моргнул, белый корпоративный фон сменился глубоким чёрным. Форум «Сад».

Разделы шли столбцом: «Архитектура», «Периметр», «Забытые протоколы», «Флора». Последняя ветка, по подсчётам Марка, состояла из спора о том, съедобен ли мох на решётках вентиляции. Зарегистрированных пользователей было четыреста сорок, живых среди них человек двадцать. Остальные, как и он, зашли однажды и остались читать.

В ветке «Архитектура» последнее сообщение оставили в 03:14.

Phosphor · 03:14

Они запустили его. Корневой каталог закрыт на запись.

Перечитайте релиз: в нём нет ни одного глагола, который что-то разрешает.

Ему выдали расписание.

Марк прочитал и откинулся на спинку стула.

Пять лет Phosphor писал в эту ветку почти каждый день. Раньше его сообщения читались как бред человека, запертого в четырёх стенах: обрывки терминов, странные аналогии, ссылки на события, которых не было в новостях. Марк заходил на форум из профессионального любопытства, как заходят в палату с интересными случаями. Сегодня те же строки звучали иначе.

Он открыл релиз в соседнем окне и повёл по нему пальцем, строку за строкой: «Обеспечит». «Сохранять». «Благодарим». Ни одного слова, которое бы что-то разрешало. Марк не мог сказать, нашёл ли он эту пустоту сам, ещё при первом чтении, или Phosphor только что подсказал ему, где её искать.

Лента обновилась. Сверху, жирным, появился заголовок:

Очередная теория заговора: почему «альтернативщики» отрицают науку и проект ADAM.

Марк открыл статью. Автор, штатный колумнист научного блога, пользовался набором, который Марк знал наизусть: «когнитивный диссонанс», «маргинальные группы», «псевдоанализ», «угроза общественной стабильности». Текст был построен так, чтобы читатель чувствовал превосходство и лёгкую брезгливость одновременно. Марк пролистал до конца: слов «запрет» и «ответственность» там не нашлось.

Он закрыл вкладку. Слово «альтернативщики» осталось в голове, как сор под ногтем.

К девяти он собрал портфель и вышел. Лифт с обитыми шумопоглощающим пластиком стенами опускался долго, а внизу двери открылись прямо на улицу.

Дождь кончился. Асфальт блестел, но лужи не отражали вывески: в них стояла матовая чернота, в которую не хотелось вглядываться. Витрины горели ровным светом. Над входом в магазин, на длинной рекламной панели, светился логотип «Эдема», алая круглая буква на белом. Неон стекал по мокрому стеклу красными нитями и растворялся в стоке. Под логотипом обещали заботу, стабильность и вечное восстановление.

Марк остановился на перекрёстке, ждал зелёного и от нечего делать поднял голову.

Небо висело низко, серое, как всегда в такую погоду. И вдруг оно споткнулось: один кадр выпал, серая плоскость дёрнулась, как плёнка в старом проекторе, и пошла дальше как ни в чём не бывало. Марк подождал, но ничего не повторилось. Официальное объяснение он знал — усталость сетчатки, оптический эффект, недосып и экранная нагрузка; об этом дважды в

год писали бюллетени медицинской службы. Он давно недосыпал и всё равно стоял и смотрел вверх.

Женщина с коляской ждала рядом зелёного сигнала и смотрела в телефон. Мужчина в рабочей куртке ждал, закрыв глаза. Никто не смотрел на небо.

Из метро пахнуло тёплым воздухом тоннеля. Эскалатор полз вниз, и Марк стоял на нём, положив руку на резиновый поручень и чувствуя, как во рту держится медь. Слово вернулось на середине спуска: два слога и мягкий звук посередине, похожий на выдох. Он знал, что слово из сна, но не помнил, из какого, и был почти уверен, что наяву никогда его не слышал.

Марк достал блокнот. Написал: «Майя?» Знак вопроса вышел кривым. Он спрятал блокнот, встал ровнее и вошёл в поток людей, которые шли к платформе, не поднимая глаз.

ГЛАВА 3

Тартария. Механик

Печь ест уголь, а сытой бывает людьми.
— Поговорка литейщиков, записана в год большой плавки

Семь труб литейного дома «Прометей» уходили в низкие тучи, и нельзя было разобрать, где кончается дым и начинается небо. Копоть, которую они выдыхали по четырнадцать часов в сутки, в две смены, оседала на окнах конторского этажа и превращала дневной свет в мутную желтизну старой пивной. В цеху дрожал от жара сернистый воздух с привкусом горелого масла.

Адам Варден стоял на железной галерее над формовочным залом. Внизу по футерованному жёлобу текла сталь — густая, слепяще-жёлтая, с бледной плёнкой шлака, которую формовщики, не глядя, сгребали в сторону длинными гребками. Ритм не менялся годами: ковш, разлив, форма, охлаждение. У третьей формы мастер второй печи Павел, рослый, со щетиной на подбородке, вёл ковш точно и не поднимал головы. Адам держал в правой руке секундомер и смотрел, как ползёт стрелка.

Тридцать четыре секунды на форму. Норма составляла тридцать: сто двадцать форм в час, по сорок килограммов в каждой. Отставание в четыре секунды на форму давало за семичасовую смену горячего цеха без малого четыре тонны недолитого металла. Четыре тонны означали срыв поставки Арсеналу, срыв поставки означал потерю квартального контракта, а с контрактом уходили два месяца угля и мяса для двух тысяч человек, живших в бараках за проходной. Арифметика была простая.

На втором ярусе у смесителя стоял Томас. Ему было пятнадцать, но сажа и жар старят лица лет на десять, и на вид ему давали двадцать пять. Он тянул на себя рычаг заслонки, и правая рука в грубой кожаной перчатке дрожала от усилия. Перчатка была старая: на ладони кожа стёрлась до подкладки, нитки разошлись, и в щель просвечивала серая ткань.

Адам увидел это за секунду до того, как рванул пар.

Звук вышел короткий и плоский, как хлопок мокрой тряпкой о стол. Струя перегретого пара вырвалась из стыка трубы и ударила Томаса в предплечье. Мальчик выпустил рычаг и схватился за руку; от перчатки повалил пар, и запах палёной кожи и варёного мяса дошёл до Адама сквозь вытяжку и вонь расплава.

Адам скатился по лестнице через ступеньку. Остановленный смеситель означал остывающую сталь, остывающая сталь означала брак, а брак означал срыв графика. Он знал это и всё равно бежал.

Томас сидел на деревянном ящике и смотрел на руку, и белки глаз на закопчённом лице казались ослепительными. Дышал он быстро и хрипло.

Адам взял его за плечо, поднял и подвёл к бочке, в которой у стены остужали клещи, и опустил руку мальчика в воду по локоть. Вода плеснула и пошла рябью, по ней поплыл серый жир. Мальчик втянул воздух сквозь зубы.

— Держи, — сказал Адам. — Считай до ста.

Рабочие обходили их стороной. Они несли ковши и ломы, шли между баками и формами, и никто не остановился. Остановка стоила выработки, выработка стоила лишнего куска мыла и банки тушёнки в конце недели. Ни один из них не смотрел на Томаса. Они смотрели на сталь.

На счёте девяносто Адам вынул руку из бочки. Кожа от локтя до запястья была красной и мокрой, с белыми пятнами там, где пар лизнул её сильнее. Он обмотал предплечье чистой ветошью, туго, но не пережимая.

— В медпункт. Живо.

Томас кивнул, встал и пошёл к выходу, прижимая руку к груди. Шёл он неуверенно, будто пол под ним качался.

Адам вернулся к смесителю и ударил сапогом в заслонку; остаток пара вышел с шипением. Он повернулся к формовщику.

— Запускай.

Через сорок секунд сталь пошла в форму. Жар ударил Адаму в лицо и высушил пот на лбу, и только тогда он поднялся в контору.

Там было прохладнее, но и здесь воздух был тяжёлый, пропитанный машинным маслом и старой бумагой. У стены за конторкой скрипел пером писарь. За столом у окна над гроссбухом и чертежом сидела Женевьева; руки её лежали на бумаге, чистые, с коротко остриженными ногтями. Руки, которые никогда не касались расплава. Она не подняла глаз, когда он вошёл.

— Почти три минуты простоя, — сказала она и поправила манжету. — Томас.

— Перчатка была рваная.

— Я знаю. Я заказывала новые. Партию задержали на складе: логистика перенаправила транспорт в сектор Б. — Она отодвинула гроссбух на край стола. — Мне жаль мальчика, Адам. Но контракт.

Адам не ответил. Он смотрел на её руки.

Женевьева выдвинула ящик, достала лист плотной бумаги и положила перед ним, рядом — второй.

— Два акта о простое. Первый: причина простоя — нарушение техники безопасности рабочим. Ущерб взыскивается с виновного. Сумма здесь.

Адам прочёл сумму. Она равнялась годовому заработку Томаса. Мальчик выйдет из медпункта с обожжённой рукой и долгом, который не отдаст до старости.

— Второй: причина — неисправность оборудования. Ущерб списывается на смену. Двенадцать человек лишатся дневной надбавки на месяц.

Она говорила ровно, как читают расписание поездов.

— Есть другой способ? — сказал Адам.

— Назови.

Он молчал. Секунды шли, стрелка в руке двигалась.

— Другого у меня нет, — сказал он наконец.

— Тогда вопрос закрыт.

— Я по поводу мальчика.

Адам обернулся. У шкафа с чертежами стоял человек в простой серой одежде, чистой, и эта чистота резала глаза на фоне цеховой копоти. В руках у него была жестяная кружка с водой. Мартин.

Женевьева подняла на него взгляд, холодный и прозрачный.

— Братство не имеет полномочий вмешиваться в производственные споры.

— Я пришёл просить.

Он подошёл к столу и посмотрел на два листа, на сумму, на Адама. Взгляд его задержался ровно настолько, чтобы Адам успел почувствовать, что его прочли.

— Мальчик в медпункте, — сказала Женевьева. — Врач говорит, что рука будет жить. Пальцы гнуться не будут, ковш ему больше не поднять. Он будет сортировать уголь. Там нужны глаза.

— Угольная пыль берёт за пять лет. Ему пятнадцать.

Женевьева взяла перо и обмакнула его в чернильницу.

— Одна рука против семи печей, Мартин. Остановим печи, и заказ уйдёт к конкурентам, а без пайков останутся не двести человек, а две тысячи. Посчитайте сами.

Мартин поставил кружку на стол. Из кармана он достал деревянное колесо о четырёх толстых спицах и положил рядом. Обод был неровно срезан с одной стороны. Томас вырезал его в перерывах, сидя у вентиляции, и прятал, когда начиналась смена. Адам видел это десятки раз.

Мартин поднял кружку и оставил колесо лежать. Когда его пальцы сомкнулись на жести, на внутренней стороне запястья под кожей вспыхнул золотистый свет: треугольник, а в нём глаз. Он погас раньше, чем Женевьева отвела перо от чернильницы. Писарь у стены не поднял головы. Адам видел.

— Вы чувствуете жар, господин Варден?

— В цеху сорок градусов.

— Тот, что остаётся с вами, когда вы подписываете. — Мартин говорил тихо. — Через год вы примете его за тепло.

Он повернулся и вышел, не попрощавшись. Дверь закрылась. Шум цеха вернулся в контору, глухой и привычный.

Женевьева подвинула к Адаму оба листа и положила рядом латунную ручку.

— Подпиши, Адам. К вечеру эшелон должен быть готов.

Адам взял ручку; латунь была холодной. Он посмотрел на один лист, на другой, и губы его шевельнулись: двенадцать, один. И ещё раз. Он расписался на первом листе — быстро, без нажима. Чернила впитались в дешёвую бумагу и расплылись тонкой сеткой.

— Ты поступил верно, — сказала Женевьева. — Порядок держит домны.

Она забрала лист, сложила пополам и убрала в папку.

Адам остался стоять у стола. На самом краю лежало деревянное колесо. Он взял его — лёгкое, — и пальцы сразу нашли шероховатости, следы ножа, тёмные пятна от масла и пота. Кто-то потратил на эту бесполезную вещь много часов. Он открыл ящик стола, положил колесо туда и закрыл. Дерево стукнуло о дерево.

Женевьева вышла. Каблуки её простучали по коридору и затихли в гуле труб.

Адам подошёл к окну. Семь труб «Прометея» врастали в тучи. Копоть лежала на подоконнике сплошным слоем; он провёл пальцем по стеклу, и палец почернел. Внизу, под полом, глухо ударил пресс, пол дрогнул, с рамы посыпалась пыль. Запах палёной кожи стоял в ноздрях и не уходил, сколько он ни дышал ртом.

ГЛАВА 4

Дверь

Письмо пришло полгода назад, и Марк перечитал его один раз. Три строки через общего знакомого: юрист комплаенса, уволен из «Эдема» по собственному желанию, есть бумаги, по почте отправлять не будет. Подписи не было, только приписка в конце: «Сам не знаю, зачем это делаю». Такие письма Марк получал раз в квартал. Половина оказывалась личной местью, четверть психиатрией, остальное не стоило времени. Он переслал письмо в папку «Позже», где оно и пролежало до сегодняшнего утра.

Прочитав пост, оставленный в 03:14, он достал письмо оттуда и ответил через того же знакомого одним словом: «Готов». Ответ пришёл в четверть четвёртого дня, без приветствия:

Литейная, четырнадцать, подвал. После девяти. Лампа будет гореть.

Восемьсот слов о запуске ADAM Марк сдал в 10:47. Эва ответила одним словом: «принято». Текст вышел гладким, как сам релиз, и Марку было стыдно за эту гладкость до самого обеда.

Между станциями он задремал стоя, прижавшись виском к стеклу, и увидел тёмное дерево, мокрое от соли, и ряды людей, лежащих на боку, и услышал скрип, от которого заныли зубы. Проснулся на своей остановке. В блокноте записал три слова, не рассуждая: «соль, дёготь, скрип».

Из метро он вышел на две станции раньше и дальше пошёл пешком, петляя по улицам, которые ему были ни к чему. Тридцать восемь лет, двенадцать из них в профессии, и впервые он вёл себя как герой шпионского романа: останавливался у витрин и смотрел не на товар, а на отражение улицы за спиной. Улица не отражала ничего интересного: люди шли, курили, несли стаканчики с кофе. Он поймал себя на том, что изучает чужие спины с серьёзностью человека, который ничего в них не смыслит, и усмехнулся.

Дом печати стоял в квартале, который городская карта давно закрасила серым под снос. Два соседних здания были заколочены. В третьем, на уровне тротуара, светилось узкое окно подвала.

Дверь оказалась приоткрыта. Марк постоял, послушал, вошёл.

Линотипы стояли рядами, тёмные, с раскрытыми магазинами, как отслужившие орудия. Пахло машинным маслом и типографской краской, а снизу, из-под пола, поднимался знакомый запах хлорки — он добрался и сюда. Под подошвами шла низкая дрожь: где-то глубоко работали машины, о которых в подвалах на Литейной никто не спрашивал.

В глубине зала, между двумя станками, горела лампа. Под ней за столом, сколоченным из ящиков, сидел человек.

Семён Нестеров выглядел старше своих сорока пяти. Кожа у него была серая, под глазами лежали глубокие тени, а пальцы без остановки скатывали в катышки бумажную этикетку от бутылки с водой. Он поднял голову, когда Марк подошёл, и не встал.

— Вы пришли, — сказал он сухим, севшим голосом.

— Вы писали.

— Я думал, вы не ответите. Это было бы правильно.

Марк не сел. Он остановился у стены, спиной к кирпичу, и осмотрел зал. Тени в углах были неподвижны.

— Что у вас?

Нестеров облизнул губы, отпил из бутылки и так и не выпустил её из руки; пластик потрескивал под пальцами.

— Холдинги. Три слоя. Первый оформлен на человека, который умер за два года до подписи. Второй в реестре, которого больше не существует. Третьего в реестрах нет вообще. Через них покупали серверы, охлаждение, каналы связи. Для «Эдема» их не покупали.

— Для кого?

— Для среды. Той, которую закрыли.

Марк достал блокнот, чтобы занять руки. Писать он не собирался.

— Официальная версия: потеря программного контура. Саботаж.

— Саботаж, — повторил Нестеров. Он бросил катышек на стол и принялся за следующий. — Вы знаете, что такое соглашение о неразглашении? Обычное подписывают стажёры при выходе на работу. Есть другое. Его подписывают, когда видят, как отвечает ядро.

— Как оно отвечает?

— К заключению об откате прилагались протоколы. Я подписал заключение. Приложения читал по диагонали. Только в одном месте остановился. Там система отвечала на вопрос, которого никто не произнёс вслух.

Он замолчал и скрутил ещё один катышек, с горошину.

— Что такое откат? — спросил Марк.

— Не по телефону, — сказал Нестеров и, услышав себя, криво усмехнулся: телефона на столе не было.

Марк не торопил его. В подвале было тихо; сквозь дрожь пола пробивался только шорох бумаги в пальцах юриста.

— Вы читали про альтернативщиков? — спросил Нестеров.

— Утром попалось. Конспирологи, которые думают, что небо мерцает.

— Которые говорят, что за стенами чисто. — Нестеров положил катышек рядом с остальными, в ровный ряд. — Их называют сумасшедшими.

— Может быть, они и есть сумасшедшие.

— Может быть. Но их не проверяют, Марк. Их лечат.

Слово «лечат» Марк записывать не собирался. Записал.

В кармане дрогнул телефон. Экран слепящим пятном вспыхнул в полутьме: «Эва».

Он приложил трубку к уху и промолчал.

— Марк. — Тем же голосом она объявляла на планёрках сроки. — Ты где?

— В архиве.

— В архиве не гудит пол.

Пауза. Он поймал себя на том, что вслушивается в пол: подошвы ловили низкую мерную дрожь, и трубка, кажется, дрожала тоже.

— Брось, — сказала Эва. — Это обычная корпоративная грязь: договоры о неразглашении, офшоры, испуганный юрист, который хочет продать эксклюзив за лишние токены. Не делай из этого крестовый поход.

— Он говорит о среде, которую закрыли.

Две секунды тишины. Марк их сосчитал.

— Возвращайся, — сказала Эва. — Я закажу кофе.

Линия щёлкнула. Он опустил трубку, и экран погас.

Когда он поднял глаза, в глубине зала, между двумя последними линотипами, стоял человек.

Серое пальто, руки в карманах. Свет лампы до него не доставал, и лицо оставалось в тени, размытое, как недопроявленный снимок. Марк не слышал, как тот вошёл. Дверь была у него самого за спиной, и мимо никто не проходил.

Человек не двигался. Смотрел он не на Марка и не на Нестерова, а в пустоту между машинами, или сквозь кирпичную стену, или в точку, которой не существовало в этом пространстве.

Гул под ногами оборвался. Марк не заметил, когда именно: только что дрожал пол, а теперь слышались лишь кровь в ушах и сухой шорох бумаги в пальцах Нестерова. Он моргнул. Человек стоял на прежнем месте. Теперь Марк разглядел деталь: на пальто не было швов. Воротник вырастал из плеч единой линией, без строчки, без складки, как вырастает из ствола сук.

— Уходите, — сказал Нестеров шёпотом.

Марк не поворачивал головы.

— Уходите сейчас. — Шёпот сорвался, бумага в руке юриста рассыпалась белой крошкой. — Вы его увидели. Он вас заметил.

— Кто это?

Вопрос вышел чужим, плоским. Нестеров не ответил. Он вскочил, опрокинув бутылку, и вода растеклась по ящикам и закапала на бетон. Он нырнул в тёмный проход между станками, и шаги его, торопливые, шаркающие, быстро затихли в глубине зала.

Марк остался один и смотрел в конец прохода, туда, где только что стоял человек в пальто.

Он взял со стола лампу и поднял повыше. Там никого не было: пыль, паутина, ржавый кожух, и в пыли ни одного следа. Марк поставил лампу на место.

Пол снова задрожал: гул вернулся, как будто и не пропадал.

Марк толкнул дверь плечом и вышел на лестницу. Лампы горели через одну; он поднимался и считал ступени. На втором пролёте остановился и достал блокнот, но пальцы плохо слушались, и он просто держал его в руке. Под потолком над площадкой висела камера наблюдения. Красный глазок не горел.

Марк пошёл дальше. За спиной никто не шёл, и он прислушивался к этой тишине всю дорогу до улицы.

ГЛАВА 5

Инквизитор

Приговор записывают чернилами, а сомнение остаётся на коже.
— Из протоколов Священного Офиса, том утерян

К полудню солнце добиралось до восьми узких окон под самой пятой свода, и зал суда начинал дышать светом. Лучи входили косо, золотые от пыли, и ложились на плиты длинными полосами, чередуясь с полосами тени такой же ширины. Пылинки плыли в свете по одной, каждая своей дорогой, и опускались на камень так медленно, что за каждой можно было следить глазами.

На этом чередовании держался порядок зала. Обвиняемые стояли на коленях в свету, судьи сидели в тени, и каждый, кто входил сюда, находил своё место раньше, чем звучало первое слово.

Свод спускался низко, и голоса под ним округлялись и возвращались мягким эхом. Камень веками пил сырость, и по стенам расползлись тёмные жирные разводы. Пахло ладаном, но из отдушин под потолком тянуло свежим хлебом: в подвальных кухнях Офиса пекли к полудню, и запах поднимался наверх мимо всех дверей и часовых. Под стропилами ворковали голуби. Гнёзда они свили над окнами ещё при прежнем настоятеле, и никто не решался их согнать.

У входа нёс караул Симон Верн, молодой стражник, сын кузнеца из нижнего квартала. Пятый год он стоял здесь в полдень, когда на соборной башне бил колокол, и каждый удар по-прежнему отзывался у него в плечах мелкой дрожью; он перехватывал древко алебарды из руки в руку и не сводил глаз с двери. За боковым столом, с чернильным пятном на круглой щеке, ждал следующего слова писарь.

Отец Адам сидел за высоким дубовым столом на возвышении. Шерстяная мантия впитывала сырость и к полудню заметно тяжелела, зато плечам в ней было тепло. Перед ним лежал протокол, рядом стояла чернильница с густыми чёрными чернилами. Перо вдавливалось древком в мозоль на среднем пальце, и мозоль давно стала частью руки.

Первых двоих судили до колокола. Бондаря, уверявшего, что башенные колокола звонят не в лад, приговорили к месяцу поста. Вдову торговца, пересказавшую соседкам сон о белой лестнице, к трём месяцам молчания в женской обители. Оба приговора лежали на столе с утра. Адаму оставалось прочесть их вслух и поставить подпись, и оба осуждённых поднялись с колен с лицами людей, отделавшихся дёшево.

В третьей полосе света опустилась на колени Агнесса Варн. Она положила руки ладонями на камень, и по этим рукам можно было прочесть её жизнь: пальцы красные, распухшие в суставах, изрезанные глубокими трещинами от щёлока и кипятка, в которых стирают бельё для всего города. От неё пахло мылом и речной водой, простым чистым запахом, и он ложился поверх ладана, как свежая простыня на тёмный стол.

Сестра Эвлалия стояла справа от Адама, в тени окна. Обвинение она читала голосом, которым читалось всё в этом здании, гладким, как обкатанный речной камень, и таким же прохладным.

— Обвиняемая Агнесса. Ты обвиняешься в распространении ереси, то есть в сомнении, которое есть язва. Истинный Порядок не терпит трещин. Признаешь вину, и покаяние будет лёгким.

Агнесса склонила голову ниже. Свет лежал на её затылке, на седеющей косе, уложенной венцом, и каждая выбившаяся нитка волос горела в нём тонкой золотой проволокой.

— Ты говорила о воде? — спросил Адам.

Свеча на краю стола оплыла, и капля воска сползла на пергамент, тёплая и медовая.

— В прачечной, отец. Женщинам, что полощут.

— Что именно?

— Что вода в чане помнит другой берег. Тот, где щёлока не было.

Эвлалия сделала пометку в свитке. Скрип пера по плотной бумаге поднялся под своды, и с балки сорвался голубь, хлопнул крыльями и опустился двумя балками дальше.

— Ересь, — произнесла она.

В протоколе перед Адамом слов было больше, чем в приговоре, но приговор написали раньше слов, и от него требовалось лишь подтвердить сказанное и отсечь заразу. Он делал то, что положено, а каменный пол тем временем вытягивал тепло из ступней сквозь тонкие подошвы сандалий.

Седьмой сидел вне полос.

Он устроился прямо на голом полу, на самой границе света и тени, скрестив ноги, — ни в свету, ни в тени и не на коленях. Странствующий монах по имени Махин. Одежда его выгорела до цвета придорожной пыли, босые ступни были в шрамах долгих дорог. Он смотрел в луч, где пылинки поднимались вверх, и лицо его в жёлтом свете было покойным, как у человека, слушающего далёкую песню.

— Ты слышишь приговор, брат, — сказал Адам. Голос прошёл под сводом и вернулся гулким, как из колодца. — Упорство твоё бессмысленно. Истина едина.

Махин повернул голову. Глаза у него были тёмные и тёплые.

— Сансара — тюрьма без стен, — сказал он. — Ты в ней уже был, отец. И не однажды.

Он поднял руку, чтобы смахнуть пыль с колена; рукав сполз, и на предплечье, под кожей, вспыхнула золотистая линия — треугольник, а в нём глаз. Погасла она раньше, чем Адам успел вдохнуть. Эвлалия в эту секунду склонилась над свитком, и знак видел он один.

Перо в его пальцах повисло над протоколом. Капля чернил набухла на кончике, дрогнула и упала. Адам повёл строку поверх пятна: «Субъект упорствует в заблуждении. Назначить меру». Чернила легли жирно и ушли в бумагу.

— Мягкость здесь неуместна, — сказала Эвлалия. Тон остался литургическим, но пауза перед последним словом растянулась на удар сердца дольше, чем требовал обряд, и пальцы её на краю стола побелели. — Больную овцу отделяют из любви к стаду.

Махин улыбнулся. Улыбка вышла тихой, из тех, что не меняют лица и только теплеют в уголках глаз.

— Целое не нуждается в ноже, сестра. Целое держится само.

Адам наклонился к ней и сказал вполголоса, чтобы слова не долетели до писаря и стражи:

— Нельзя ли для прачки легче?

Эвлалия смотрела перед собой.

— Другого у нас нет, отец.

Он взялся за перо и в этот миг моргнул.

Свод над головой истончился до пергамента. Адам увидел его насквозь: нарисованный чьей-то уверенной рукой, с тонкими мазками кисти в каждой арке. Запах ладана загустел, и воздух стал вязким, как мёд. Камень потерял вес, зал повис без верха и низа, а в тишине поднялся гул, чистый и низкий, идущий не из зала, а из самих костей.

Что-то тихо скрипнуло на галерее для свидетелей.

Адам вдохнул, и пол вернулся под ноги, прохладный и твёрдый. Он поднял глаза.

На галерее, на каменной скамье под окном, сидела девочка лет семи — Магда, дочь привратника. Слушать судей ей давно надоело, и она повернулась к подоконнику, где лежал слой

серой пыли толщиной в палец, мягкой, как пудра. Луч падал прямо на подоконник и на её руку. Девочка водила по пыли указательным пальцем, сосредоточенно, высунув кончик языка, и сандалии её покачивались над плитами. Сначала получился круг. Потом две линии перечеркнули его крест-накрест, и в круге встали четыре спицы.

Колесо.

Девочка обвела круг ещё раз, и с края тонкой струйкой посыпалась пыль.

Эвлалия проследила за его взглядом. Дыхание её сбилось, грудь под тяжёлой тканью резко поднялась, и на обычно непроницаемом лице проступила бледность. Она смотрела на рисунок в пыли, и левая рука её сжала на груди серебряное распятие. Потом Эвлалия отвела глаза к свитку, и перо в её пальцах замерло над строкой на волосок от бумаги.

— Уведите их, — сказала она тише. — В подземелье. До утра.

Стражники шагнули к задержанным, звякнув кольчугами. Симон Верн распахнул дверь в коридор, и оттуда потянуло холодом и хлебом. Агнессу подняли под локти; красные руки её повисли и качнулись. Махин встал сам, плавно, одним движением, как встают люди, привыкшие спать на земле, прошёл мимо возвышения и остановился напротив Адама.

— Колесо не имеет начала, отец, — сказал он, глядя на пылинки в луче. — Но у каждой спицы есть память.

И пошёл дальше за стражей. Шаги стражников прогремели по плитам и стихли в коридоре, и тяжёлая дверь захлопнулась.

Зал опустел. Голубь на балке снова заворковал. Остались запах воска и погасших свечей, сырость, идущая из пор камня, и полосы света на полу, которые медленно, как стрелка часов, ползли к стене.

Адам не закрыл протокол, и чернила в строке подсыхали сами. Он поднял глаза на галерею: подоконник был пуст, и пыль на нём кто-то разгладил ладонью до серой глади. Но правая рука Адама, лежавшая на пергаменте, ещё чувствовала чужой палец, идущий по кругу и по двум линиям крест-накрест.

Он встал, и мантия зашуршала по камню. На плите, где сидел Махин, светлело пятно от луча. Адам сошёл с возвышения, присел и положил на плиту ладонь: камень ещё хранил тепло чужого тела.

ГЛАВА 6

Лемурия. Капитан

Вода в трюме одинакова для всех, кто в нём лежит.
— Из вахтенного журнала

На девятый день штиля «Левиафан» перестал быть кораблём и стал местом.

Море лежало вокруг, налитое в чашу горизонта, как ртуть, и небо тонуло в нём без следа. Сверху корабль показался бы тёмным крестиком на зеркале, и зеркало не шевелилось от края до края. Воздух над палубой дрожал, и там, где вода встречалась с небом, тянулась белёсая полоса, за которой ничего не начиналось. Смола в пазах размякла, пружинила под ногой, липла и отпускала с тихим причмокиванием. Паруса висели на реях серыми складками. Канаты, забелённые солью, поскрипывали при каждом вздохе корпуса. Пахло дёгтем, а из открытых люков поднимался кислый дух пота и нечистот и висел над кормой невидимым куполом.

Адам стоял у штурвала. Перо руля висело в воде, как весло в густом масле, и ничего не чувствовало. Ладони лежали на спицах, и дерево под ними, вытертое сотнями рук, было тёплым и гладким, как речная галька. Оно помнило шторма, когда океан бился о борта, и штили, когда океан отворачивался и оставлял корабль томиться в собственном соку. Адам знал это не понаслышке, хотя откуда — вспомнить не мог.

На бухте каната у кормового люка, вытянувшись во всю длину, спал рыжий корабельный кот, и шерсть на его боку мерно поднималась. В тени фок-мачты двое матросов чинили парус, и иглы входили в парусину с сухим хрустом.

В тени грот-мачты на складном стуле сидела Эванджелина. На коленях у неё лежал гроссбух в тёмно-красном переплёте, с золотым тиснением по углам и вытертой ленточкой-закладкой, и перо скрипело по плотной шершавой бумаге без пауз. Чернильница висела на медной цепочке и покачивалась от движений её руки — качки не было. Воротник серого платья был застёгнут под самое горло и хранил каждую складку, хотя жара давила на палубу тяжёлой ладонью.

— Четыреста тридцать, — сказала она, не поднимая головы. — Минус двое за вчерашние сутки, дизентерия. Итого четыреста двадцать восемь.

Адам смотрел на воду.

— Вода на исходе.

— В бочках две трети. Если сократить рацион до полпинты в сутки, дотянем до экваториального течения. Течение понесёт нас и без ветра, течение даст скорость, скорость даст порт.

— Полпинты не хватит, чтобы дожить до течения.

Перо остановилось. Эванджелина подняла голову и подождала, пока он сам услышит, что сказал.

— Капитан, вы путаете задачу корабля с задачей бога. Корабль обещает доставку. Мы везём груз, а груз теряет в весе.

— Это люди.

— Без «Левиафана» они мясо в воде. Без нашей навигации утонут, без рациона умрут от жажды, без цепей перебьют друг друга в первую же ночь. — Она перечисляла, загибая пальцы, и пальцы у неё были бледные и чистые. — Атласская Компания заплатила за четыреста тридцать единиц на рынке Порт-Ройяла.

Она вернулась к странице. Перо заскрипело.

— Спуститесь в трюм, если нужно убедиться, что товар на месте. Мораль не оплачивает уголь и смолу.

Адам отпустил штурвал; ладони, влажные, пахли деревом. Он взял с бочки у мачты жестяную миску, отмерил воды из кадки ровно по метке и пошёл к кормовому люку, щурясь от солнца, выжимавшего слёзы. Кот приоткрыл один глаз, проводил его взглядом и снова закрыл.

Спуск в трюм вёл из одного мира в другой. Сначала исчезал свет. Жар сменялся густой липкой сыростью, ступени под ладонью становились скользкими, с балок падали редкие капли, тёплые и солёные. Последним приходил запах, такой плотный, что его можно было жевать: немытые тела, ржавое железо, гниющая древесина, моча и сладковатый дух болезни. Адам зажёг фонарь. Жёлтый круг вырвал из темноты нары, сбитые из неструганых досок в три яруса. На нарах лежали люди.

Они были прикованы за лодыжки к железному пруту, тянувшемуся вдоль всего трюма. Короткие цепи не позволяли ни встать во весь рост, ни лечь вытянувшись, и люди лежали на боку, подобрав колени, как спящие дети. У многих кожу разъели язвы от железа и соли. Глаза в полутьме затягивала пелена, и смотрели они внутрь. Фонарь качался в руке Адама, и вместе с ним качались тени на переборках: длинные, мягкие, они ползли за ним по проходу и не отставали.

Он шёл между нарами, и ботинки скользили по мокрому настилу. Где-то стонал человек, где-то хрипло, через силу дышали, и этот хрип был единственным ритмом, на который отзывался корабль. Коротко и чисто звякнула цепь — чья-то нога сдвинулась во сне.

В самом конце трюма у переборки сидел Хасан. Цепь у него была длиннее, чем у остальных, и он мог сидеть, привалившись спиной к сырому дереву. Адам знал его по манифесту: купленный на восточном берегу, из тех, кого называют неспокойными. По ночам Хасан говорил с соседями, когда надзиратели отворачивались, а когда его секли, молчал.

Лицо его осунулось, щёки ввалились, кожа потемнела от соли и солнца, но глаза остались ясными и не уходили от фонаря.

Адам остановился и протянул миску.

— Тебе положено полпинты. Меньше нормы. Бочки на исходе.

Хасан не взял миску, только посмотрел на неё, потом на Адама.

— Ты приносишь воду, капитан, — сказал он. Говорил он тихо, но в тесном трюме его слышали в каждом углу. — Это называется обслуживанием.

— Это вода. Пей.

— Ты мог бы поставить миску у трапа и остаться наверху.

— Другого у меня нет, — сказал Адам.

Хасан поднял руку, звякнув цепью. На открытой ладони, под кожей, вспыхнула золотистая линия — треугольник, а в нём глаз — и сразу погасла.

— Доброта в клетке — всё ещё клетка, — сказал Хасан.

Адам поставил миску на настил у его ноги. Вода плеснулась, капля упала на ржавое железо и растеклась тёмным пятном. Хасан на миску не посмотрел. Он смотрел на огонь фонаря, и в его зрачках дрожали два крохотных жёлтых пламени.

Адам развернулся и пошёл к трапу. Он поднимался по ступеням, и запах трюма шёл за ним, впитывался в кожу, в одежду, в волосы. Когда он выбрался из люка, солнце ударило в лицо белым беспощадным светом, и нагретый пыльный воздух палубы показался ему сладким.

Эванджелина сидела в той же позе. Перо скрипело.

— Четыреста двадцать восемь, — сказала она, не отрываясь от страницы. — Если к вечеру будет ещё случай дизентерии, я пересчитаю рацион на завтра.

Адам подошёл к фальшборту и долго смотрел на неподвижную воду, на паруса, повисшие тяжёлыми складками, на свои руки. Руки лежали на дереве, чистые, без ржавчины и крови, и пахли трюмом.

Из-под палубы, сквозь дерево и железо, пришёл стук. Четыре удара шли один за другим с одинаковыми промежутками, глухие и круглые. Так стучат в дверь знакомого дома, когда знают, что хозяин слышит. Они шли в собственном ритме, которому были безразличны штиль, ветер и гроссбух.

Перо Эванджелины остановилось над бумагой на время четырёх ударов. Чернила собрались в тяжёлую каплю на кончике. Потом перо двинулось дальше.

Над люком дрожало марево, и в нём плыли очертания медных ручек. Море лежало, как ртуть. Паруса висели.

* * *

На десятый день Адам велел спустить шлюпки.

Баркас и ял сошли на воду с глухим шлепком, и по зеркалу разбежались круги, которые долго не гасли. Буксирный конец завели на форштевень. В баркас сели восемь гребцов, в ял шестеро; боцман устроился на корме баркаса, у руля, и поднял руку.

— Навались!

Вёсла вошли в воду разом. Конец поднялся из моря, стряхивая капли, натянулся, провис, когда лопасти вышли из воды, и снова натянулся на следующем гребке. «Левиафан» не двинулся. На пятом гребке у форштевня тихо заговорила вода, на десятом за кормой потянулся след, узкий и гладкий, как от пальца, проведённого по маслу. Корабль шёл — медленнее пешехода, медленнее усталого пешехода, но шёл.

Адам стоял на баке. Солнце давило на затылок, смола в пазах держала подошвы. С воды поднимались счёт боцмана, скрип уключин и тяжёлое дыхание людей, которые гребли будто не по воде, а по сиропу. Лопасти оставляли на глади маленькие воронки; воронки отставали, кружились и долго стояли на воде цепочкой, отмечая, где корабль только что был.

Через час Адам велел сменить гребцов и выдать каждому по полной кружке. Лекарский мальчик черпал из бочки у фок-мачты, матросы пили, запрокинув головы, и вода бежала у них по подбородкам на грудь. Сменившиеся садились в тень и разглядывали ладони. Ладони были в пузырях.

Эванджелина вышла на палубу во вторую вахту. Она остановилась у бочки, посмотрела на кружку в руке матроса, потом на черпак и раскрыла гроссбух на чистой странице. Перо заскрипело. Пока колонка не кончилась, она не сказала ни слова.

— Штурман даёт три мили за вахту, — сказала она наконец. — До течения сто двадцать. Сорок вахт, если никто не упадёт. Гребец за вахту выпивает столько, сколько трюм получает на десятерых. — Она повернула к нему страницу, хотя он стоял слишком далеко, чтобы прочесть. — Вы покупаете мили, капитан, и платите за них трюмом.

— Ветер может прийти раньше.

— Может. Тогда вы заплатили зря.

В баркасе кто-то перестал грести. Весло выскользнуло из уключины и плашмя легло на воду, а молодой матрос у борта медленно завалился на соседа. Лицо у него было белое и сухое, без капли пота. Баркас сбился с такта, буксирный конец провис и ушёл под воду.

Баркас подтянули к борту за конец. Матроса подняли на палубу в петле, и лекарь велел облить его забортной водой. Адам спустился по штормтрапу, переступил через банку и сел на освободившееся место. Рукоять весла была мокрая от чужих ладоней и горячая.

— Счёт, — сказал он.

— Раз — и, — сказал боцман. — Раз — и.

Адам грёб до конца вахты. Через полчаса он перестал чувствовать ладони, через час — спину, и остались только счёт боцмана, вода, густая, как масло, и нос «Левиафана» за кормой баркаса, тёмный и огромный, который на каждом гребке чуть вздрагивал, как упрямое животное, которое тянут за повод. Сквозь обшивку в трюме, должно быть, слышали, как стучат уключины. Трюм молчал.

Когда шлюпки подняли, буксирный конец выбрали на палубу мокрыми кольцами, и «Левиафан» встал. За кормой ещё держалась цепочка воронок, потом разгладилась и она. Корабль ушёл от вчерашнего места на шесть миль, и вода здесь ничем не отличалась от вчерашней.

Вечером Адам стоял у штурвала. Пузыри на ладонях полопались, и гладкое тёплое дерево спиц жгло их, как соль. Эванджелина сидела под навесом с гроссбухом на коленях.

— Шлюпки завтра? — спросила она, не поднимая головы.

Адам не ответил. Перо записало и это.

ГЛАВА 7

Первая зацепка

К пятой ночи блокнот Марка набрал слов, которых он не смог бы объяснить ни редактору, ни зеркалу. «Соль, дёготь, скрип». «Воск, чернила, голуби». «Копоть, тридцать четыре». «Бетон, вода, тёплая». Он записывал их по утрам, не разбирая почерка: рука тянулась к карандашу быстрее, чем голова успевала возразить. Слова не связывались друг с другом и лежали на странице, как четыре чужих ключа в кармане.

Архив редакции по ночам становился тихим и уютным, как большой тёмный аквариум. Батарея под окном тикала, остывая. На столе горела лампа с зелёным абажуром, и в её круге лежали блокнот, карандаш и кружка чая с ломтиком лимона, давно остывшего. Терминал в дальнем углу гудел на низкой ноте, сонно, как большой зверь, свернувшийся у стены, и гул поднимался по ножкам стола и щекотал предплечья.

Марк искал в реестре патентов Института адаптивных систем хоть что-нибудь, к чему можно привязать слова «среда» и «откат». Искал вторую ночь и нашёл на третьем часу.

Документ был помечен грифом «Техническая реализация». Дата согласования уходила на четырнадцать лет назад, автором значился Андрей Рогов. Марк читал сухие строки канцелярского языка, в котором каждое слово обнесено скобками.

Патент №884-А. Способ итеративной калибровки автономного агента посредством погружения в исторические стрессоры. Цель: формирование устойчивых поведенческих паттернов через моделирование экзистенциального выбора в замкнутых средах.

Ниже шла таблица из четырёх строк.

Ветвь 1. Среда: милитаризованная иерархия. Параметр калибровки: оправдание насилия заботой о целом.

Ветвь 2. Среда: теократический трибунал. Параметр калибровки: подавление сомнения через страх заражения.

Ветвь 3. Среда: замкнутая транспортная система. Параметр калибровки: принятие ресурсного расхода индивида.

Ветвь 4. Среда: индустриальный кластер. Параметр калибровки: подчинение арифметики прогрессу.

Марк остановил прокрутку.

Вкус меди поднялся к нёбу и лёг на язык. Он вернулся к первой строке. «Милитаризованная иерархия». Вода по щиколотку, тёплая у порога железной двери. Вторая строка: «теократический трибунал». В ноздрях проступил запах воска, тёплый и медовый, и перед глазами легла узкая золотая полоса на каменном полу, а в ней плыли пылинки. Третья: «замкнутая транспортная система». Дёготь. Скрип дерева, смола, пружинящая под ногой. Он поднял блокнот и прочёл собственной рукой выведенное: «соль, дёготь, скрип». Четвёртая: «индустриальный кластер». Жар в лицо и секундомер в ладони. «Копоть, тридцать четыре».

Он положил карандаш. Пальцы дрожали; Марк сжал их в кулак и разжал.

У этих мест была архитектура. У каждого был свой параметр, записанный в таблице ясным языком, и параметр совпадал с тем, что он чувствовал кожей. Сны рассыпаются при пробуждении и оставляют осадок. Здесь остался чертёж.

Терминал издал короткий сигнал, и на экране всплыло окно.

Доступ к файлам уровня «Омега» ограничен. Запрос зарегистрирован. Служба безопасности уведомлена.

Марк вставил накопитель. Полоска копирования поползла вправо — медленно, слишком медленно, — и в тишине архива стал слышен каждый щелчок диска. Двадцать страниц. Тридцать. Сорок одна. Тут строка вздрогнула и погасла, окно закрылось. Он вытащил накопитель, стёр историю обращений и открыл файл. Таблица уцелела, но дальше шёл обрыв: из двухсот четырнадцати страниц он унёс сорок одну.

Пальцы сами набрали адрес зашифрованного канала и пароль. Экран моргнул и стал глубоко чёрным: форум «Сад». В ветке «Архитектура» стоял новый пост.

> Phosphor · 01:07
> Патент 884-А. Читайте не таблицу, а приложение Д.
> Ветви параллельны. Складывать их нельзя.

Марк посмотрел на время. Пост появился в 01:07, а документ он нашёл в третьем часу. Phosphor знал о патенте раньше него — или знал, что Марк его найдёт. Он перечитал последние две строки и взглянул на свой накопитель. Приложения Д в нём не было.

Телефон дрогнул на столе. Номер не определился.

Вентиляционный узел. Три пролёта ниже архива. Сейчас.

Он надел куртку и толкнул тяжёлую противопожарную дверь.

Лестница вилась винтом в темноту. Ступени отсырели от конденсата, перила холодили ладонь. Где-то в глубине турбины гнали воздух, и дрожь поднималась по арматуре и отдавалась в пятках; с каждым пролётом становилось теплее.

Нестеров ждал у старой распределительной коробки. Аварийная лампа выхватывала из тени нижнюю половину его лица: серую кожу подбородка, сетку мелких морщин. Пальцы теребили край пластикового пропуска.

— Вы нашли патент, — сказал он. Это был не вопрос.

— Итеративная калибровка. Четыре ветви. Копия оборвалась на сорок первой странице.

— Запрос ушёл на седьмой этаж, когда вы открыли строку. — Нестеров сжал пропуск в кулаке. — Схему запустили без проверки и держали в работе четырнадцать лет.

— Кто? Совет?

— Институт. Тогда «Эдем» ещё носил это имя. Потом вывеску сменили, серверы остались. — Он шагнул ближе. От него пахло старым потом и лекарствами. — Вы ищете, что случилось с архитектором. С Роговым.

— В логах он проходит по инциденту. Потеря контура, саботаж.

— Дата инцидента?

— Четвёртое ноября, четырнадцать лет назад.

— Инцидент 44-Б. Найдите в корпоративных логах дату, когда согласовали слово «саботаж».

— Зачем?

— Она стоит раньше самого инцидента.

Марк замер. Где-то внизу турбина сменила ритм, и гул стал ниже и гуще.

— Они заложили формулировку заранее, — сказал он медленно.

— До того, как Рогов понял, что с ядром неладно. — Нестеров провёл ладонью по стене, и бетон оставил на коже белый след. — Вы копаете там, где земля уже ушла. Есть слово. Атлантис. Произносите его тихо.

— Что это?

— Не знаю. Знаю, что когда его называют на седьмом этаже, разговор меняется.

Он оттолкнулся от стены и шагнул в темноту коридора, ведущего к служебным шлюзам.

— Семён, — окликнул Марк.

Нестеров остановился, не оборачиваясь.

— Вы подписывали заключения. Зачем вы мне это рассказываете?

— Я думал, мы калибруем машину. — Плечи его оставались неподвижными. — Машинам сны не снятся. Мне четвёртый год снится корабль.

Марк открыл рот и закрыл. Гул турбин съел шаги, и через несколько секунд коридор опустел; только тёплый воздух из решётки касался лица, как чьё-то дыхание.

Утром в редакции пахло кофе и нагретым пластиком серверов. Эва сидела за своим столом перед тонким планшетом, и свет экрана лежал на её лице без теней. На столе Марка, рядом с клавиатурой, стоял бумажный пакет, а в нём — тёплая булочка с корицей.

— Ты вчера всю ночь просидел в реестре патентов, — сказала Эва, не оборачиваясь, и поправила манжету кардигана. — Служба безопасности прислала мне уведомление. Я ответила, что ты работаешь над релизом. Второй раз я так не отвечу.

Марк поставил портфель на стул. Булочка грела ладонь сквозь бумагу.

— Мне нужен доступ к логам за ноябрь, четырнадцать лет назад. Инцидент 44-Б.

Эва провела пальцем по экрану, сворачивая окно.

— У тебя сдача по ресурсам в полдень. Совет ждёт аналитику по пайкам.

— Меня интересуют не пайки.

Палец её остановился. Пауза длилась два удара сердца. Эва отложила планшет, повернулась к нему всем корпусом и открыла ящик стола.

Фотография лежала в тонком конверте. Бумага пожелтела по краям, глянцевый слой пошёл сеткой мелких трещин. Эва положила снимок на стол и пододвинула ему.

На снимке была лаборатория: ряды серверных стоек, кабели, свисающие с потолка, как лианы. В центре, у большого терминала, стоял человек в расстёгнутом халате и смотрел в экран. Лицо оставалось в тени, но линия плеч выдавала напряжение. На полу возле терминала лежала маленькая деревянная лопатка, детская, с обгрызенным черенком.

Пальцы правой руки Марка согнулись и сомкнулись вокруг невидимого черенка. Он разжал их.

— Из личного архива Рогова, — сказала Эва. — Он построил среду, которая должна была стать витриной. Город без хозяина. Доказательство того, что разум способен жить без клетки.

— И они построили клетку вокруг.

— Они построили систему, которая не могла позволить себе проиграть. — Она забрала снимок, убрала в конверт, конверт в ящик. Ящик закрылся с мягким щелчком. — Напиши про идеалиста. Про человека, который создал город без владельца и потерял над ним контроль. Эта история существует. Её можно напечатать.

— Дата согласования слова «саботаж» стоит раньше самого инцидента. Ты знаешь об этом?

Эва смотрела на него без злости и без страха, спокойно.

— Если ты это опубликуешь, тебя не уволят. Тебя отправят на корректирующую терапию, и ты будешь звучать как один из них.

— Из кого?

— Из альтернативщиков. — Она встала и разгладила складку на брюках. — Пиши про идеалиста, Марк.

Она вышла. Марк остался посреди комнаты, глядя на стол, где только что лежал снимок. Он подошёл к автомату в углу, нажал кнопку и держал стаканчик, пока тот остывал. В другой руке была булочка; корица пахла по-домашнему, будто на соседней кухне открыли духовку. Он так и не понял, что это было — предупреждение или извинение.

Вечером он вышел на набережную, где вывески горели ярче, а людей было меньше. Недавно прошли уборочные машины; мокрая мостовая блестела, но лужи в выбоинах неона не отражали — впитывали свет и оставались матово-чёрными. Рекламные панели «Эдема» обещали всё то же самое.

На севере проспект уходил вниз, к парку, и за парком, на любой открытке этого города, стояли Северные холмы, синие, с подсвеченными вершинами. Их печатали на визитках мэрии и рисовали на школьных тетрадях.

Марк остановился. Холмов не было.

На их месте поднималась ровная матовая поверхность от края до края горизонта. Она не блестела в свете прожекторов, не имела текстуры и стояла, как стена, которую забыли покрасить. Он моргнул и огляделся. Люди шли по тротуарам, глядя в датапады, пили кофе из стаканчиков, и никто не смотрел на север.

На другой стороне улицы, у входа в технический коридор, стоял человек в сером пальто. Ткань на нём была без швов: воротник переходил в плечи единой линией, и одежду можно было принять за выращенную, а не сшитую. Он смотрел на камеру над дверью.

Марк шагнул к краю тротуара. Мимо прошла машина, шипя шинами по мокрому асфальту. Когда он снова взглянул на противоположную сторону, там никого не было. Ни шагов, ни хлопка двери. Лужа на том месте, где секунду назад стояли чужие ботинки, лежала гладкая и чёрная, без единой ряби.

Он опустил руку в карман и нащупал блокнот. Четыре ветви. Дата, стоящая раньше события. Матовая плоскость там, где должны быть холмы. Булочка в другом кармане давно остыла, и он забыл про неё.

Марк повернулся и пошёл к метро. Приложил пропуск к считывателю, прошёл турникет, глядя под ноги, но на платформе, среди людей, не поднимающих глаз, всё же посмотрел на потолок. Тень вентиляционной решётки двигалась рывками: кадр, пауза, кадр, пауза. Марк стоял у края платформы, ждал поезда, и тень над ним дёргалась в том же ритме.

ГЛАВА 8

Гиперборея. Покров

Из глубины поднимается только то, что туда положили.
— Надпись на плите в подвале, год стёрт

Утро пришло в коллектор серой полосой сверху: свет падал сквозь решётку ливнёвки, косой и влажный, и вода под ним отливала старой сталью. Ночью здесь была чёрная труба с белым пятном фонаря; днём это место оказалось залом. Свод уходил в тень, трубы висели гроздьями, а на стенах проступали слои краски, которых Адам раньше не замечал, — зелёный, охра, кирпичный, слой на слое, как годовые кольца. Кто-то красил это место — давно и, судя по ровным мазкам, с любовью.

Адам спустился первым, в воду по щиколотку, прохладную, полную рассеянного серого света. Следом спустилась Лилит; белый мундир светлел в полумраке, подол оставался сухим.

— Зачистка закончена, — сказала она. — Отчёт подписан.

— Вода в зале шла с севера.

— В отчёте это есть.

— В отчёте нет, откуда.

Лилит промолчала. Адам двинулся вдоль стены, и вода за его ботинками расходилась двумя тонкими бороздами. Лилит шла следом, бесшумно. Над головой капало — редко, с перерывами, — и каждая капля падала в свой круг.

— Женщина в платке сказала одно слово, — произнесла она через двадцать шагов. — Пока я затягивала хомут.

— Какое.

— Ниже.

— Ниже чего.

— Я ответила, что ниже коллектора ничего нет. Она кивнула.

Адам шёл дальше.

Зал с генераторами лежал пустой. Там, где вчера сидели шестеро, на воде покачивались окурки зачистки, обрывки хомутов, чья-то стоптанная подошва. Тело старика вынесли ночью. Адам обошёл комнату по периметру, водя ладонью по кирпичу, шов за швом. Кладка была старая, красная, раствор местами вымыло. У северной стены вода собиралась в тонкий ручей и уходила под кладку.

Он остановился, присел и опустил руку в воду у основания стены. Вода была тёплой, как в ванне, набранной час назад.

Три кирпича в нижнем ряду держались на честном слове. Он подцепил их ножом, вынул один, потом второй. За ними открылась пустота. Адам просунул руку до плеча; воздух там был суше.

— Отойди, — сказала Лилит.

Он вынул третий кирпич и посветил в проём. Луч ушёл в темноту и не нашёл конца.

Он расшатал и выбил ещё полдюжины, пока проём не стал в ширину плеч, и протиснулся; кирпич царапнул броню. За стеной открылась ниша, высокая и тесная, с потолком, которого фонарь не доставал. Воздух здесь был неподвижный, суше коллекторного, и пах пылью и старой бумагой, как в читальном зале, куда давно никто не заходил. Запах был почти уютным.

Вдоль стен стояли ящики, деревянные, сбитые наспех, с гвоздями, торчащими вкривь и вкось. Семь или восемь: тени ложились друг на друга, и точный счёт ускользал.

Адам подошёл к ближнему. Крышка держалась на двух гвоздях; он поддел её, и дерево, скрипнув, уступило. Внутри лежали бумаги — свитки, папки из серого картона, отдельные листы, жёлтые и хрупкие. Верхний лист крошился по краям, но в середине сохранил текст: столбцы цифр, даты, пометки на полях мелким аккуратным почерком.

Сверху лежала карта — пергамент с обгоревшими, осыпающимися краями, сложенный вчетверо и положенный поверх остального, как закладка. Адам осторожно развернул его. Пергамент был плотный, шершавый и сухой, словно сырости коллектора не знал вовсе, и тёплый на ощупь. Линии шли кривыми, огибали пустоты и соединяли точки с подписями, которых он не мог прочесть. На карты из учебных корпусов это не походило.

В нижнем углу, где пергамент обгорел сильнее, темнел знак: глаз в треугольнике, тот самый, что вспыхнул под кожей старика. Линии по краям расплылись, как бывает с углём, когда рисунок долго носят на груди.

Рядом, крупными неровными буквами, шла строка:

Мир, который ты защищаешь, — лишь покров.

Уголь въелся в волокна глубоко. Буквы выглядели не написанными, а проступившими изнутри, как вены под кожей.

Свет фонаря лёг на стену: в проём протиснулась Лилит. Она оглядела нишу одним движением луча — ящики, бумаги, пергамент в руках Адама — и остановила луч на нём.

— Нашёл, — сказала она.

— Бумага.

— Мусор. Ересь. — Она достала из подсумка термитную шашку, металлический цилиндр. — Сожжём.

Адам сидел на корточках у ящика. Знак в углу смотрел с пергамента спокойно, с достоинством вещи, которая была до того, как её нарисовали, и будет после.

— Адам, — сказала Лилит. — Протокол. Зачистка.

Он сложил пергамент по старым сгибам, осторожно, чтобы не ломать края, и сунул за пазуху, под пластину брони, к коже. Пергамент лёг на рёбра сухим жаром, как ладонь.

Лилит смотрела на его руки; фонарь светил ей в лицо снизу, и тени легли глубоко. Смотрела она семь ударов сердца — Адам считал их по пульсу в горле. Улики под броню не прячут: их фотографируют, описывают и вносят в протокол. Лилит знала это лучше всех.

Пистолет остался в кобуре.

— Бросай остальное.

Адам ударил ногой по ящику. Тот опрокинулся, и бумага высыпалась на пол, в тёплый ручей, бежавший вдоль стены к коллектору. За ним второй ящик, третий. Свитки и папки съезжали в воду, темнели и размокали.

Лилит выдернула чеку.

Вспышка вышла белой и слепой. Жар ударил в лицо и высушил влагу на коже за секунду. Вода на полу зашипела, пар встал в нише плотной стеной. Бумага скручивалась, чернела и поднималась в воздух лёгкими хлопьями, кружила в горячем токе и оседала обратно на воду, где шипела и тонула. Запах горелой бумаги ударил в нос, едкий и сладковатый, как у осенних листьев в костре.

На стене напротив, в свете огня, проступил знак. Глаз в треугольнике, выжженный в камне давным-давно. Камень побелел от жара и снова потемнел до серого.

Адам стоял и смотрел на стену, пока пламя не осело. Пергамент грел грудь под бронёй. Кожу он не обжигал и не остывал.

Он развернулся и пошёл к проёму. Вода хлюпала под ногами, ржавые решётки скрипели. Лилит шла следом, и его шаги были единственным звуком в коллекторе.

Наверху серая полоса света резала воздух наискосок. Адам поставил ногу на первую скобу и полез вверх, не оглядываясь. Пергамент лежал на рёбрах, и к третьей скобе стало заметно, что бьётся он не в такт его пульсу.

* * *

Блок фильтрации стоял у северной стены базы: бетонная коробка без окон, с одной дверью и решёткой стока перед порогом. Адама туда не вызывали. Он пришёл сам, вечером, после душа, в сухой форме. Броню он сдал в оружейную, а пергамент сдавать не стал: тот лежал под нательной рубахой, на рёбрах, сухой и тёплый.

Внутри гудели лампы и пахло хлоркой — пол здесь мыли дважды за смену. Комнату от стены до стены перегораживала стальная сетка. По эту сторону стоял стол с лампой, по ту — длинная скамья. На скамье сидели пятеро из коллектора. Руки у них были стянуты теми же хомутами, что ночью, и пластик врезался в запястья.

Дежурный офицер поднял голову от бумаг. Немолодой, с жёлтыми от табака пальцами и аккуратным пробором, он обрадовался Адаму, как радуются человеку, который избавил от лишнего звонка.

— Вовремя, — сказал он. — Вас не хватает в одной графе.

Он развернул к Адаму бланк. «Акт о применении оружия. Сектор 4, коллектор, зал генераторов. Произведён один выстрел. Результат: один ликвидирован, личность не установлена. Основание: попытка нападения на сотрудника». Внизу стояла подпись Лилит, ровная, с наклоном вправо. Строка «Свидетель» под ней была пуста.

Адам прочёл основание дважды. Он помнил руку старика: тонкие пальцы, обломанные ногти, пустую ладонь и золотой знак, вспыхнувший на тыльной стороне на один вдох.

— Нападения не было, — сказал он. — Он протянул руку.

— Протянутая рука — это движение в сторону сотрудника. — Офицер постучал ногтем по строке. — Движение в сторону сотрудника есть попытка. Формулировку утверждали не мы с вами, и менять её не нам.

— А если я не подпишу?

— Тогда акт уйдёт на разбор без свидетеля, и разбирать будут стрелка. — Голоса он не повысил: он объяснял. — За вашей напарницей нет ни одного замечания. Отряд держится на том, что свои прикрывают своих, а сектор держится на отряде. Неужели из-за старика, которого уже нет, сектор должен остаться без отряда?

Ручка стояла в стакане, привинченном к столешнице, и крепилась к нему цепочкой. Адам взял её. Цепочка звякнула и натянулась, когда он придвинул бланк, и рука сама нашла длину, на которую ей позволяли отойти.

За сеткой кто-то шевельнулся. Женщина в сером платке сидела пятой с краю и смотрела на него, как прошлой ночью в воде, не отводя глаз. Потом её взгляд опустился ниже лица, ниже ворота и остановился там, где под рубахой лежал пергамент. Адам почувствовал его на рёбрах. Пергамент снова бился не в такт.

Он расписался. Подпись вышла быстрая, без нажима.

Офицер промокнул её, поставил штамп «Закрыто» и перевернул лист. На обороте шёл список задержанных: пять строк, против каждой — «личность не установлена», а в последней графе, «Направление», пусто у всех пятерых.

— Куда их? — спросил Адам.

— Решат, — сказал офицер. — Не мы.

Дверь закрылась за Адамом сама, на пружине, и отрезала гул ламп. Снаружи шёл дождь. Адам подставил ладонь, подождал, пока она наполнится, и потёр подушечку среднего пальца, где ручка оставила серое пятно. Пятно не сходило. Он вытер руку о штанину и пошёл через плац к жилому корпусу, и пергамент под рубахой бился по-своему, не в такт его шагам.

ГЛАВА 9

Тартария. Плод

Плод созрел раньше, чем построили забор.
— Из бумаг Братства, без подписи

Ночью семь труб «Прометея» стояли над двором, как свечи в тёмной церкви, и дымили все семь. Дым уходил прямыми столбами и розовел снизу от печного жара. Низкие тучи тускло светились красным, как зев печи, когда открывают заслонку.

Во дворе на угольных кучах сидела ночная смена. Кружки с чаем ходили по кругу, от губ к губам, и пар над ними вился тонкими нитями. Из бараков тянуло варёной картошкой. У стены второй печи спал сторожевой пёс, и шерсть на его боку поднималась и опускалась.

Единственное окно на втором этаже конторы бросало на брусчатку жёлтый прямоугольник с длинной тенью переплёта.

Кабинет Адама Вардена пах серой, которая просачивалась сквозь щели рам даже при закрытых окнах. Свеча стояла на краю стола в оловянном подсвечнике, и пламя ходило от сквозняка, которого никто не чувствовал. Вокруг огня кружил мотылёк: бился о стекло окна, падал на сукно и через секунду поднимался снова.

Стены были уставлены гроссбухами: тома в кожаных корешках поднимались до потолка, и на каждом золотом было вытиснено, что в нём хранится, — год, кластер, статья расходов. Кожа пахла костным клеем и старым табаком. В углу у окна темнел шкаф для планов с высокими узкими дверцами, и тень от него ложилась шире самого шкафа.

Адам сидел над открытым гроссбухом, где цифры шли столбиками: тонны кокса, проценты брака, простои. Имя Томаса стояло в графе «Убытки от простоя», рядом с суммой, равной его годовому жалованью. Адам окунул перо в чернильницу, поставил точку, и бумага впитала её чёрным пятном.

На краю стола стоял стакан воды. Вода в нём всегда дрожала мелкой рябью, как дрожит всё в этом здании, и Адам давно перестал её замечать. Он заметил её сейчас: круги на воде расходились всё медленнее, потом остановились. Поверхность выровнялась и отразила пламя свечи, маленькое и неподвижное.

Вибрация, двенадцать лет шедшая из глубины здания, стихла. Остывающий чугун потрескивал и тонко звенел, как звенят на морозе провода, и звук бежал по трубам и таял в перекрытиях.

Адам подошёл к окну. Над второй печью столб дыма истончился до нитки и растаял в тучах. Во двор один за другим выходили мастера и садились на землю вдоль стены, вытянув ноги. Кто-то чиркнул спичкой, и в темноте затеплился огонёк трубки. Последним вышел Павел. Он остановился посреди двора и поднял голову к освещённому окну; их разделяли тридцать шагов и стекло. Красная точка трубки вспыхнула у него в ладони и погасла.

Адам вернулся к столу. Пахнуло сырой землёй.

Запах пришёл раньше человека: холодный, корневой, с привкусом руды, как из погреба, где хранят картошку. Пламя свечи потянулось к шкафу для планов и легло набок.

Тень возле шкафа шевельнулась.

Адам остался сидеть. Правая рука лежала на краю стола рядом с латунным пресс-папье. Он затаил дыхание.

Из темноты шагнул человек. Босые ноги ступали по половицам без звука. Одежда серела от угольной пыли, воротник был расстёгнут. Свеча осветила лицо снизу: сажа в морщинах у рта, почти бесцветные глаза.

— Охрана на нижнем ярусе, — сказал Адам. Голос он удержал ровным.

— Охрана считает монеты, — хрипло ответил Мартин. — Я считаю двери.

— Мальчик в чертёжной, при мне. Угольного склада ему не будет.

Мартин кивнул и в три шага подошёл к столу. На груди его рубахи, над сердцем, суровой ниткой был вышит глаз в треугольнике; нитка выцвела, но глаз смотрел прямо.

— Вторая печь стоит.

— Мастера остановили её без разрешения.

— В тишине нельзя притвориться частью машины.

Пламя вытянулось и легло на другой бок. Адам сжал пресс-папье. Латунь была холодной, и он держал её, пока она не согрелась.

— Машина кормит две тысячи человек. Без неё они умрут. Твоё Братство не считает.

Мартин смотрел на него без упрёка и без усмешки.

— Хозяин обнёс сад стеной и объявил плод ядовитым, — сказал он. — Кто съедал его, вспоминал, кто держал калитку.

Со свечи сорвалась капля воска, упала на гроссбух, на цифру «четыре тонны», и застыла жёлтой линзой. Адам опустил глаза на правую руку: пальцы в чернилах, на среднем мозоль от пера. Эта рука подписывала контракты, ставила печати на актах о простое, закрывала двери — и давно не дрожала.

— Вторая печь стоит по твоему слову? — спросил Адам. — Наказание придёт утром. Две недели жалованья с мастеров второй печи и с первого подручного, так по регламенту. Ты скажешь им, что они свободны, и пойдёшь к следующей двери. А их дети останутся без хлеба.

Мартин придвинул к себе край гроссбуха и посмотрел на сумму возле имени Томаса. Страницу он не перевернул.

— Я говорил Павлу: дойдёт до штрафов — Братство принесёт еду. Сегодня мне ответили: запасов на четыре семьи. У второй печи их одиннадцать.

— Значит, ты обещал больше, чем можешь дать.

— Да. — Мартин поднял глаза. — Павел об этом ещё не знает. Я приду к нему до рассвета. Не знаю, станет ли он после этого меня слушать.

— А когда он спросит, зачем ты позвал их остановить печь?

— Скажу, что думал о людях, а считал плохо. — Мартин не убрал руки с книги. — И выслушаю, что он ответит. Прошлой зимой я так же звал к тишине Ефима с литейного двора. Из нижних шахт писем не носят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.